

ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ

Шло время, и по-прежнему была до предела насыщена трудами жизнь поэта. И он, и его журнал были теперь постоянно в самом центре общественного внимания. Авторитет имени Некрасова, интерес к его стихам возрастали год от году. Вот его собственные слова в письме к брату Федору Алексеевичу: "Моя поэма "Княгиня Волконская", которую я писал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний, - прочти ее. Вместе с этим письмом я велел послать тебе новую 5-ю часть моих стихов, где и поэма эта находится" (26 февраля 1873 года).

Стихи его вышли к этому времени уже шестым изданием (в шести частях), причем каждое новое издание становилось все более полным. Читательский спрос на них был очень велик. Журнал также пользовался все возрастающим успехом. "Подписка на "Отечественные записки" нынче так повалила, что печатаем второе издание, - говорится в том же письме. - Из всего этого можешь заключить, что дела идут недурно, и кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! человек, живя, изнашивается как платье; каждый день то по шву прореха, то пуговица потеряется..."

В этих словах заметна некоторая душевная успокоенность. Даже в жалобах на старость преобладают добродушно-рассудительные интонации. Его теперь меньше задевают и выпады реакционных газет, встретивших насмешками его декабристские поэмы, потому что он знает - читатель ва его стороне: "Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает".

Но и теперь он не может забыть, как эти "шавки" преследовали его на протяжении долгих лет. Не избалованный похвалами, он горячо откликается на всякое проявление внимания и сочувствия. "Спасибо Вам от души, Владимир Рафаилович, за Ваше доброе, милое письмо! - пишет Некрасов писателю и журналисту Зотову, которому послал новую книгу своих стихов. - Очень оно мне было приятно; в последнее время, кроме грубых (и безапелляционных) ругательств в печати, ничего не слышу! Да и во все 34 года не много слышал я добрых слов; люди, у которых, может быть, и нашлось бы для меня доброе слово, большею частью были моими товарищами по журнальной работе, и это обрекало их на молчание обо мне..." (21 февраля 1874 года).

Ему теперь кажется, что он стареет, и, может быть, по этой причине он все чаще обращается к воспоминаниям прошлого. Еще далеко до последней болезни, а он уже старается пересмотреть и заново оценить прожитую жизнь, мотивируя это так:

Когда зима нам кудри убелит,
Приходит к нам нежданная забота
Свести итог... О юноши! Грозит
Она и вам, судьба не пощадит:
Наступит час рассчитывать строго
За каждый шаг, за целой жизни труд.

Стремлением "свести итог" окрашены лучшие лирические стихи этих лет, неизменно обращенные и к прошлому, и к современности, к молодому поколению - юношам. Личное и общее сложно переплелось в этих стихах, отмеченных высокой зрелостью таланта, особой весомостью слова. Большое "итоговое" стихотворение "Уныние" насыщено воспоминаниями о своей жизни, - она была трудна, потому что поэт отвергал пути, "утопанные гладко", и "шел своим путем".

По-прежнему суровый по отношению к себе, к своим ошибкам, он все надежды возлагает на читателя: "Но мой судья - читатель-гражданин. Лишь в суд его храню слепую веру".

Вслед за "Унынием" Некрасов пишет изумительную "Элегию". Эти стихи "самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последние годы". Они посвящены А. Н. Еракову, инженеру, близкому другу поэта, ставшему мужем его сестры Анны Алексеевны.

В "Элегии" снова мысли о народе, о его судьбе и снова тот же вопрос: "Народ освобожден, но счастлив ли народ?.." Поэт отвечает здесь тем, кто считает этот вопрос устаревшим:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая "страдания народа"
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!

Некрасов до конца жизни не оставлял этой главной своей темы и потому имел право сказать: "Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил - и сердцем я спокоен..." Это важнейшее признание поздних лет, оно показывает, что при всех сомнениях в себе, порой болезненно острых, поэт знал: труд его нужен народу. И недаром эти строки "Элегии" приводят на память мысли и интонации пушкинского "Памятника": и там и здесь - итоги, самооценка, мечта о посмертном народном признании. "К нему не зарастет народная тропа", - сказано у Пушкина. "Чтобы широкие лапти народные к ней проторили пути..." - по своему повторил ту же мысль Некрасов {В стихотворении "Друзьям".}, думая о могиле, в какую сойдут заступники народные.

* * *

К 1870 году относится начало последней любви Некрасова. Ему приглянулась 19-летняя девушка из "простого звания", как тогда говорили. Она была дочерью рядового солдата (по другим сведениям - военного писаря), сирота, родом из Вышнего Волочка. Звали ее Фекла Анисимовна. Имя это казалось тогда неблагозвучным или непоэтичным, поэтому Некрасов сразу переименовал ее в Зину, и все знакомые, бывавшие в доме, называли ее Зинаидой Николаевной.

Зина отличалась открытым, веселым нравом, от нее веяло душевной теплотой, приветливостью. Были приглашены учителя, - она начала заниматься языками, музыкой. Часто бывала в театре. Некрасов был к ней всегда внимателен. Даже ненадолго собираясь с Зиной в Карабаху, он просил брата: "Мне бы нужен на эти полтора месяца рояль. Нельзя ли во избежание хлопот взять порядочный в Ярославле напрокат?" (21 мая 1870 года).

Зина быстро пристрастилась к верховой езде, охоте, научилась стрелять и стала постоянной спутницей Некрасова в его охотничьих выездах. Особенно часто они бывали в Чудовской Луке.

- Николай Алексеевич любил меня очень, баловал, - рассказывала Зинаида Николаевна в старости. - Плятья, театры, совместная охота, всяческие удовольствия - вот в чем жизнь моя состояла {Рассказ З. Н. Некрасовой записан В. Евгеньевым-Максимовым в 1914 году в Саратове, где она провела последние годы жизни. Тогда же у нее побывал и К. И. Чуковский. Зинаида Николаевна жила в бедности и умерла 25 января 1915 года. Похоронена на Воскресенском кладбище, недалеко от могилы Чернышевского.}.

В середине июня 1870 года они приехали в Карабаху и здесь спокойно и весело прожили лето. Вскоре по приезде Некрасов писал Лазаревскому: "Многомилейший Василий Матвеевич. У нас здесь отлично. Жаль, что Вы не можете приехать... Другой день купаюсь. Рыбы много в нашей реке Которости. Зина начинает пристращаться к ужению. Она Вам кланяется. Поклонитесь от нее и от меня всем нашим добрым знакомым..." (23 июня 1870 года).

В конце июля, хорошо отдохнув, он засел за работу, за первую из "декабристских" поэм; он задумал посвятить ее своей подруге. Это был первый большой труд, выполненный при ней.

За каких-нибудь десять дней поэма "Дедушка" была закончена. Она появилась в сентябрьской книжке "Отечественных записок" с посвящением "З-н-ч-е", то есть Зиночке.

О летнем ее образе жизни в Карабихе сохранился рассказ тамошнего винокура Павла Емельяновича: "... Бывало, оденется в полный мужской костюм и отправится с Николаем Алексеевичем верхом на катанье - всегда уж он ее сопровождал сам. А то отправятся в шарабане купаться, и часто оттуда заезжали ко мне на завод пить чай. Сам-то он не больно разговорчив был, а Зинаида Николаевна все что-нибудь рассказывает и смеется..."

В 1873 году Некрасов и Зина вместе с Анной Алексеевной отправились за границу - пили воды в Киссингене, побывали в Париже, Диеппе. В Киссингене встретили много русских знакомых, в том числе Елисеевых, Михайловского, который оставил в своих воспоминаниях несколько строк о пребывании Некрасова на этом тихом немецком курорте. Михайловский заметил, что после шумной, пестрой и нескладной петербургской жизни Некрасов отдыхал и, видимо, "отмякал" в этой простой обстановке.

В двух верстах от Киссингена есть развалины древнего замка Боденлаубе, построенного в XIII веке знаменитым Миннезингером. Теперь, рассказывает Михайловский, в этих заросших зеленью развалинах ютится ресторанчик, где можно получить яйца всмятку, кофе, молоко, дешевое вино. "Однажды мы сидели там с Некрасовым. Он разговорился, рассказывал про Белинского, Чернышевского, Добролюбова, отзываясь о них почти восторженно". Он говорил грустно и задумчиво, отметил Михайловский.

Зина и позднее повсюду сопровождала Некрасова - в Карабиху, в Чудовскую Луку, позднее в Крым. Однажды на охоте произошел печальный случай: Зина случайно застрелила Кадо, любимую собаку Николая Алексеевича. По словам одного из чудовских крестьян, он любил этого черного пойнтера так, как любить собаку, может быть, и не следовало. Даже лечась за границей, он не забывал справляться о ее здоровье - просил Лазаревского, охотившегося в Чудове на тетеревов, "навести справки о житье-бытье вселюбнейшего нашего Кадо".

Рассказывают, что любимцу разрешалось вскакивать на стол за обедом и лакать воду из хрустального кувшина. Ему подавалась жареная куропатка, которую он съедал на ковре или трепал на дорогой диванной обивке. По этому поводу аккуратный Гончаров говорил: "Надо заметить этот диван, чтобы никогда на него не садиться". Впрочем, все это сообщает П. Ковалевский, мемуарист ехидный и склонный к преувеличениям.

То летнее утро в Чудове началось прекрасно. Ехали на лошадях верхом - впереди Зинаида Николаевна в мужском костюме, в светлых рейтузах, с волосами, убранными под шляпу, сзади Николай Алексеевич, пригнувшись, еле поспевал за ней. Она только что из столицы и радуется каждой травке, каждому деревцу, на все показывает ему своим белым хлыстиком. По словам очевидца, оба смеются, веселые и довольные. А потом она одна спешит на болото, за утками. Собака - за нею. Раздаются выстрел и вой собаки. Николай Алексеевич, перепуганный и бледный, бежит туда напрямик через болото. "О настоящей дороге слышать не хочет, все платье себе в лозняке изодрал, руки, лицо исцарапал, однако добежал, и довольно скоро добежал. Зинаида Николаевна на берегу сидит, Кадо у нее на коленях. Белые лосины ее все в крови перепачканы. Кадо чуть дышит..."

Он взял собаку к себе на колени, а Зина бросилась просить прощенья. Тогда Некрасов, по словам очевидца-кучера, сказал:

- Что ты плачешь, о чем убиваешься? Эту собаку ты нечаянно убила, а каждый день где-нибудь на свете людей нарочно убивают. Нисколько на тебя не сержусь, но дай свободу тоске моей, я сегодня лучшего друга лишился.

Кадо зарыли в саду около дачи, а Некрасов с Зиной с первым же поездом уехали в Петербург. Вскоре он заказал гранитную плиту, на которой была выбита надпись:

Кадо,
Черный понтер,
Был превосходен на охоте,
Незаменимый друг дома.
Родился 15 июня 1868 г.,
Убит случайно на охоте 2 мая 1875 г.

Эта некрасовская надпись на темно-серой плите, вросшей в землю, и теперь видна в саду, неподалеку от охотничьего домика в Чудовской Луке.

Друзья и знакомые Некрасова сразу "признали" Зину. Ей выражали свое уважение, присылали приветы в письмах Салтыков и Плещеев, и Гончаров, и А. Ф. Кони, и Лазаревский, и многие другие. Иначе относились к ней родные поэта: Анна Алексеевна и Федор Алексеевич были недовольны появлением возле их брата этой малообразованной и простой девушки; по их мнению, она была недостойна его, то есть была ему не пара. Разные намеки, холодность в обращении с Зиной - все это очень огорчало Некрасова. Он долго терпел и молчал, его пугала необходимость объяснений, которых он не переносил. "Многие люди терпят в жизни от излишней болтливости; я часто терпел от противоположного качества..." - писал он сестре, разъясняя свое молчание. Наконец после одного разговора с Анной Алексеевной, когда она прямо высказала свое отношение к Зине, он решил, что молчать больше нельзя. "Итак, знай, - писал он сестре, - что я вовсе не сержусь и не считаю себя вправе сердиться; я считаю только себя вправе требовать от тебя, из уважения ко мне, приличного поведения с Зиной при случайной встрече..." (30 октября 1874 года).

Конечно, только крайняя необходимость заставила его сказать эти слова сестре, которую он любил и которой многим был обязан. Анна Алексеевна, в свою очередь, была его преданным другом, она ценила его талант и делала все, что могла, для облегчения его жизни. А позднее она много сил и труда вложила в подготовку первого посмертного издания стихов Некрасова.

А. Кони считал Анну Алексеевну женщиной умной, самостоятельной и до суровости правдивой. Такой она и была. Но чем больше ценил сестру Некрасов, тем труднее было ему примириться с ее отношением к Зине. Через некоторое время, в период тяжелой болезни Некрасова, Зинаида Николаевна проявила высокую самоотверженность, ухаживая за больным; но даже это почти ничего не изменило в сложившихся обстоятельствах.

* * *

К середине 70-х годов здоровье Некрасова начало заметно ухудшаться. Зимой 1874 года он несколько раз приглашал доктора Николая Андреевича Белоголового, жалуясь на недомогание, вялость и особенно на острую невралгическую боль. Однако он еще держался, работал, бывал в редакции, ездил на охоту.

В эту зиму он участвовал в редактировании сборника "Складчина", изданного в помощь пострадавшим от голода в Самарской губернии, и поместил в нем "Три элегии", посвященные Плещееву; готовил восьмитомное издание сочинений Островского; вел переговоры и переписку с писателями-авторами "Отечественных записок". В частности, он возобновил отношения с Достоевским, который вручил ему только что законченную первую часть романа "Подросток". По словам Достоевского, Некрасов принял его "очень дружески", а потом сам пришел к нему по прочтении "Подростка", чтобы "выразить свой восторг".

К этому же времени относится и активная деятельность Некрасова в Литературном фонде. В феврале 1875 года его избрали товарищем председателя фонда. Он бывает на заседаниях комитета, хлопочет о выдаче ссуд, ездит по квартирам больных и нуждающихся литераторов. И наконец, сам жертвует в кассу Литературного фонда восемьсот рублей.

Лето 1875 года Некрасов с Зиной последний раз провел в Карабихе.

Чувствовал он себя плохо: "... снадобье, которое мне дали доктора, нисколько не действует; желудок и печень в скверном состоянии. Не знаю, что и делать..." (29 июня 1875 года). Тем не менее он продолжал работать не покладая рук. Именно в это время, в июле, была закончена большая сатира "Современники", в которой сказался весь опыт, накопленный к тому времени Некрасовым - суровым обличителем дворянского-буржуазного общества.

Еще в поэме "Недавнее время" (1871) он под видом критики завсегдаев Английского клуба дал остроразоблачительные портреты либералов, "салонных якобинцев", аристократических тунеядцев, старых крепостников и молодых миллионеров нового типа. Цензурные власти сразу заметили, что "клуб здесь только маска, под прикрытием которой поэту удобнее порицать порядки недавнего прошлого". Эти традиции клубной сатиры Некрасов развил в поэме "Современники". Поэт уже не ссылался здесь на порядки "недавнего времени", и самое название сатиры напоминало, что речь идет о вполне современных темах и проблемах.

"Современники" - вершина сатирического творчества Некрасова; в русской литературе они стоят рядом с бессмертными разоблачениями Щедрина. Некрасову удалось с большой художественной силой показать зарождение и разгул капиталистического хищничества в России; соединив в своих картинах клубной жизни документальную основу (почти все персонажи - реальные лица) с гротескными характеристиками, он создал колоритные образы финансовых и промышленных воротил, спекулянтов, титулованных казнокрадов и прочих рыцарей наживы с их алчностью, цинизмом и могуществом.

Самые отвратительные стороны отечественного капитализма Некрасов сумел увидеть и выставить на позор в то время, когда многие его черты еще не обрисовались достаточно ясно.

Наступивший "грязный" век чистогана и всеобщей продажности, союз набирающей силы буржуазии с царизмом вызвали такую ненависть у поэта, что он начал свою сатиру прямо с разящих строк: "Я книгу взял, восстав от сна, и прочитал я в ней: "Бывали хуже времена, но не было подлей".

"Книга" - это журнал с рассказом забытой ныне писательницы Н. Хвоцинской; годом раньше сам же Некрасов напечатал в "Отечественных записках" этот рассказ, где ему запомнились слова: "Были времена хуже - подлее не бывало". Они пригодились теперь поэту для острой характеристики "времени" и определили тональность всей сатиры.

Прошло еще несколько месяцев, и началось "беспрестьянное хворанье". Летом 1876 года Некрасовы жили на даче в Чудовской Луке. Отсюда Николай Алексеевич писал в Карабаху: "Любезный брат Федор, мне очень плохо; главное: не имею минуты покоя и не могу спать - такие ужасные боли в спине и ниже уже третий месяц. Живу я в усадьбе около Чудова, почти каждые десять дней езжу в Гатчино, где живет доктор Боткин; что далее будет со мною, не знаю..." (11 июля 1876 года).

Через несколько дней он рассказывает сестре: "Любезная сестра Анна, я уже четвертый раз путешествую в Гатчино... Боли меня не покидают; сто дней не спал по-человечески; облегчения бывают изредка - на полдня; а то сплошная мука. Ноги слабеют" (26 июля 1876 года).

Не зная, чем облегчить болезнь, еще не вполне разгаданную, Сергей Петрович Боткин предложил лечение крымским воздухом, теплом и виноградом. Эта мысль обрадовала больного. "Числа 24-25 августа я еду в Крым; там хорошая осень, и притом там будет доктор Боткин, едущий туда с государыней; еду по его совету, он надеется меня поправить" (15 августа 1876 года). В Ялте они остановились в гостинице "Россия". Больной был очень доволен погодой и природой, ему стало немного легче. Он начал прогуливаться пешком, ездить с Зиной в экипаже в горы. Почти каждый день бывал у него доктор Боткин.

Приглашая сестру в Ялту, Некрасов писал: "... я в моем трудном положении нахожу минуты, когда море и здешняя природа вообще покоряют меня и утоляют. Выезжаю теперь по утрам каждый день, всего чаще в Орианду - это лучшее, что здесь пока видел; проходит в езде

и прогулке от полутора до двух часов весьма приятно... Ноги плохи, сон дурен, но всё же я покрепче; кабы не проклятые боли - пропасть бы написал..." (19-21 сентября 1876 года). Однако в Ялте он написал не так уж мало - здесь была почти завершена важнейшая часть поэмы "Кому на Руси жить хорошо" - "Пир на весь мир", посвященный С. П. Боткину. Это был настоящий подвиг. В "Пире" нет никаких следов болезни, усталости, наоборот, он поражает силой мысли, яркостью словесного мастерства. Это отмечали еще современники поэта.

"... Поразительным является тот факт, - писал один из них (народник А. Г. Штанге), - что "Пир" написан полуживым человеком, над которым уже была занесена неумолимая рука смерти".

30 октября Некрасов возвратился домой. Временное улучшение исчезло. Доктор Белоголовый нашел "резкое похудание в теле" и усиление болей, теперь почти не прекращающихся. Больной не мог спать по несколько ночей подряд, доходил до полного отчаяния и говорил о самоубийстве. Салтыков, навестивший его в день приезда, писал Анненкову:

"... Воротился из Крыма Некрасов - совсем мертвый человек. Ни сна, ни аппетита - все пропало... Не проходит десяти минут без мучительнейших болей в кишках... Вы бы не узнали его, если б теперь увидели. Я был хорош, а он теперь - две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги" (1 ноября 1876 года).

К тяжелому состоянию больного присоединилась, по выражению Белоголового, "новая нравственная тревога": он узнал, что цензура запретила "Пир на весь мир", который печатался в ноябрьской книжке "Отечественных записок". Поэт начал борьбу, пытаясь отстоять свое детище, выстраданное в буквальном смысле слова. Он искалечил текст правкой ради цензуры. Затем пригласил к себе председателя Петербургского цензурного комитета Петрова и битых два часа, несмотря на сильные боли, доказывал ему всю несообразность запрещения.

По словам присутствовавшей при этом Анны Алексеевны, автор разъяснял цензору чуть ли не каждую строчку, это подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его и всю клику". Петров терпеливо слушал, только пыхтел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и по временам мычал: "Да успокойтесь, Николай Алексеевич", или: "Вот поправитесь, переделаете, тогда и пройдет".

Переговоры не помогли. "Пир на весь мир" вырезали из вышедшей книжки журнала. Пои жизни автора он не увидел света.

После этой истории Некрасов встретил Белоголового такими горькими словами:

- Вот оно, наше ремесло литератора! Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами. Прошло тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение - и опять сталкиваюсь с теми же ножницами!

Трагедию поэта, на пороге смерти вступившего в неравную борьбу с цензурой, хорошо раскрыл Салтыков в одном из писем к Анненкову: "... Этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невозможных болей написал поэму, которую цензурам не замедлила вырезать из 11-го номера. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека" (25 октября 1876 года).

Ему становилось все хуже, и в начале нового, 1877 года он решил составить завещание. Свидетелями были Салтыков, Белоголовый и Елисеев. Душеприказчиками, то есть исполнителями завещания, умирающий назначил Александра Николаевича Еракова и присяжного поверенного Алексея Михайловича Унковского.

Согласно завещанию, все права на изданные и неизданные сочинения были переданы Анне Алексеевне; часть денег от продажи сочинений должна была получить семья Чернышевского. Камердинеру Василию Матвееву была назначена пожизненная пенсия (триста рублей в год, из доходов Анны Алексеевны); крестьянин Никанор Афанасьев, служивший у Некрасова, получил две тысячи рублей; Зинаиде Николаевне предоставлялось все движимое имущество в квартире на Литейном, а также имение Чудовская Лука, которое ей надлежало поделить пополам с Константином Алексеевичем; ему же были оставлены все ружья завещателя. Не забыта была и Авдотья Яковлевна.

В завещании был один примечательный пункт: "Капитала в денежных бумагах он, завещатель, вовсе не имеет". Это вызвало некоторое удивление современников, считавших состояние Некрасова в последние годы жизни очень значительным. П. М. Ковалевский уверяет, будто незадолго до смерти Некрасов не скрывал, что у него "не одна сотня тысяч в процентных бумагах". Однако тот же мемуарист, подтверждая, что денег после Некрасова не осталось, говорит, что вопрос о том, куда они девались, был для всех тайной. И выдвигает предположение: "Или состояние опять принесено в жертву "направлению"..."

Удивлялся отсутствию денег и другой мемуарист - Л. Ф. Пантелеев. Он сообщает следующее: "В свое время в кругу лиц, близких к Литературному фонду, питалась уверенность, основанная на каких-то довольно ясных намеках самого Некрасова, что от него будет завещано фонду более или менее значительный капитал. Однако в духовном завещании Некрасова ни Фонду, ни на какое-нибудь общественное дело ничего не оказалось".

Некоторые современники, по-видимому, кое-что знали или догадывались об истинных причинах исчезновения "капитала". Вслед за Ковалевским, но более определенно, говорит об этом такая осведомленная мемуаристка, как Е. А. Штакеншнейдер, впрочем, отнюдь не одобрявшая ни "направления", которому служил Некрасов, ни "нигилистов", под которыми она, видимо, подразумевала революционеров-землевольцев 70-х годов.

19 октября 1880 года, спустя три года после смерти Некрасова, Штакеншнейдер записала в своем дневнике: "Нигилисты как будто унялись... Кажется, их в самом деле много переловили. Или, что боже упаси, они только притихли, чтобы сделать какой-нибудь отчаянный прыжок. Но, может быть, и средства их поистощились. Сто семьдесят тысяч Лизогуба {Д. А. Лизогуб - помещик Черниговской губернии, примкнул к революционно-народническому движению 70-х годов, для которого пожертвовал свое состояние. Был повешен 8 августа 1879 года в Одессе.} все вышли, и завещанные Некрасовым пятьсот тысяч также. Все мне не верится, что Некрасов мог их завещать для подобной цели".

Сведения насчет Лизогуба мемуаристка передает верно. Может быть, так же справедливо и ее сообщение о Некрасове?

Верится ей или не верится, это не так уж существенно. Важно, что слухи о завещании денег ходили, и даже называлась определенная сумма; может быть, здесь и надо искать объяснение загадки, куда девались деньги, почему даже Литературный фонд не получил ни копейки по завещанию. Не пошли ли эти деньги на поддержку революционно-народнических организаций, на революционную пропаганду?

Фактов, прямо подтверждающих эти предположения, пока нет. Но самая возможность таких предположений знаменательна.

* * *

В декабре 1876 года несколько врачей, лечивших Некрасова, а также профессор Н. В. Склифосовский, собрались на консилиум и наконец определили болезнь: рак прямой кишки. Склифосовский старался успокоить больного, а коллегам сказал, что, по его мнению, неизбежна операция. Врачи согласились с этим, понимая, что хирургическое вмешательство может продлить жизнь, устранить "вероятность мучительного исхода, следующего за абсолютной непроходимостью кишки" (слова Белоголового).

Даже намек на возможность операции вызвал раздражение больного, - он наотрез заявил, что предпочитает умереть, чем подвергаться новым мучениям. Тем не менее Анна Алексеевна по совету врачей написала письмо в Вену, где у нее был знакомый, с просьбой выяснить - не согласится ли приехать в Петербург знаменитый немецкий хирург Теодор Билльрот.

Между тем болезнь прогрессировала, страдания становились непереносимыми даже для окружающих. Опий, который вводили три раза в день, уже почти не помогал. В одну из таких тяжелых бессонных ночей он набросал стихи, посвященные Зине:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются:
Ночью и днем
В сердце твоём
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи.
Зина! усни!

Но Зина не могла уснуть, она оказалась преданным другом и надежной сиделкой, как и сестра поэта. Обе они, по выражению современника, соперничали в самоистязаниях, каждая старалась первой подбежать к постели. Зато, когда истекли эти двести дней и ночей, а к ним прибавились еще многие дни и ночи без сна, она из молодой и цветущей женщины превратилась в старуху.

Непостижимо, как в этих условиях, преодолевая боль, Некрасов создавал свои предсмертные стихи - "Последние песни". Он знал, что умирает, и торопился подвести итоги, высказать то, что было для него бесконечно важно. Поэтому он молил свою музу: "Могучей силой вдохновенья Страданья тела победи, Любви, негодованья, мщенья Зажги огонь в моей груди!"

У Некрасова появился досуг, которого никогда не было, и он мог неторопливо размышлять о жизни в те часы, когда не слишком мучила боль. Тогда-то, полностью отдавшись стихам, он сказал свои знаменитые слова: "Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом".

Теперь вопреки всему стихи становились все лучше, словно его талант продолжал крепнуть и развиваться, попирая законы, по которым живет человеческий организм. Перед ним вдруг раздвинулись горизонты, прежде заслоненные повседневностью: злободневное отступало перед вечным... В эти дни он все чаще обращался к своей музе, словно она могла разделить с ним его одиночество и тоску: "О муза! ты была мне другом, приди на мой последний зов!" - молил он, уверенный, что в музе его бессмертие и спасение.

Но муза уже была не та, что прежде. Однажды Некрасов записал в дневнике, который он начал вести во время болезни: "... муза явилась ко мне беззубой, дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей "Мороз, Красный нос". Этот небывалый в русской поэзии образ музы-смерти появился в изумительном стихотворении "Баюшки-баю":

Где ты, о, муза! Пой, как прежде!
"Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!"

Но и об этой бредущей на костылях музе он мог с полным основанием сказать: "Сестра народа - и моя", потому что мысли о судьбе народа не покидали его и сейчас. Перед всепоглощающей любовью к народу отступали его собственные страдания; вот почему в созданном на краю могилы стихотворении "Сеятелям" нет ни звука о болезни и смерти: стихи написаны прежним Некрасовым, трибуном и борцом - они звучали как завещание: "Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ..." Он сам всю жизнь был таким сеятелем и теперь знал, что ему уже не увидит всходов. Минуты бодрости сменялись у него унынием, особенно когда он думал "об осужденных в изгнание вечное, О заточенных в тюрьму", или об "ушедших" - о своих погибших друзьях и соратниках. Порой казались бесполезными жертвы, принесенные ими, и ненужной его собственная борьба, его страдания: "Я настолько же чуждым народу Умираю, как жить начинал".

Но еще при жизни поэта эти его мысли были убедительно опровергнуты. В январском номере "Отечественных записок" появились 'стихи из цикла "Последние песни". Читатели узнали о тяжелой болезни поэта. Он стал получать письма с выражением сочувствия. К нему приходили незнакомые люди, часто студенты. Их было так много, что пришлось повесить на дверях квартиры объявление: "Сим заявляю, что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются непрочитанными".

Однако поток писем продолжался. Доктор Белоголовый свидетельствует, что Некрасов ежедневно получал "массу писем и телеграмм, то единичных, то коллективных из разных мест и часто глухих закоулков России, из которых он мог заключить, как высоко ценит его родина и какими огромными симпатиями повсеместно пользуется его талант". Все это утешало поэта и скрашивало его последние дни.

Но, пожалуй, самое значительное событие произошло в начале февраля 1877 года, когда студенты нескольких учебных заведений - Петербургского университета. Медико-хирургической академии. Харьковского университета и Харьковского ветеринарного института, а также слушательницы женских врачебных курсов - составили и послали Некрасову адрес, в котором выражалось преклонение перед поэтом и гражданином. "Из уст в уста передавая дорогие нам имена, - писали студенты, - не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья. Знай же, что ты не одинок, что взлелеет и возрастит семена эти всей душой тебя любящая учащаяся молодежь русская".

Под адресом стояло триста девяносто пять подписей: он был редким для того времени выражением общественного мнения, мыслей и чувств революционно настроенной молодежи.

Неожиданный приход трех студентов означал, что битва не проиграна. Радостно взволнованный, Некрасов слабым голосом, слегка нараспев прочитал гостям стихотворение "Вам, мой дар ценившим и любившим...", которое не вошло в сборник "Последние песни", хотя по замыслу поэта должно было стать посвящением к нему. Некрасов подарил студентам на память листок бумаги, на котором его рукою было написано это лирическое прощание с читателем: "Вам, ко мне участие заявившим в черный год, простертый надо мной, посвящаю труд последний мой!" Этот листок в рамке и под стеклом долго висел на стене университетской библиотеки.

Примерно тогда же, в январе 1877 года, Павел Михайлович Третьяков, собиратель искусства и основатель картинной галереи, заказал художнику И. Н. Крамскому портрет Некрасова. В феврале художник провел целую неделю в доме поэта, но работать почти не мог, - сильные боли не позволяли Некрасову оставаться в одном положении больше нескольких минут.

Заказчик торопил мастера: "Хорошо бы очень было, если бы удалось успеть написать Некрасова. Уж очень бы я рад был". А мастер, преодолев огромные трудности, пользуясь редкими "просветами", к концу марта уже завершал свою работу. При этом он жаловался Третьякову: "Я хотел бы еще сказать Вам, что с Некрасовым чистая беда - ведь дежурить приходится каждый день, а работаешь 1/4 часа, много 1/2 часа. Ну, да теперь кажется отделался".

Кроме большого портрета, Крамской в те же дни создал картину, изображающую больного поэта в постели, с карандашом в руке, пишущего стихи. Он назвал ее "Некрасов в период "Последних песен". Поворот головы, лицо поэта на картине почти полностью повторяют большой портрет.

Во время работы Некрасов, несомненно, читал Крамскому свои последние песни. 3 марта он прочел стихотворение "Баюшки-баю", о котором художник отозвался так: "Просто решительно одно из величайших произведений русской поэзии!"

* * *

Испытывая нежность и благодарность к Зине за ее самоотверженность, Некрасов, несмотря на свое отчаянное положение, принял решение - обвенчаться с ней, то есть вступить в законный брак. Это было нелегко, надо было обойти церковные правила, требовавшие, чтобы подобные обряды производились в церкви.

Ераков, Салтыков и Унковский взялись за дело. По совету митрополита, к которому пришлось обращаться за разрешением, они достали через военное ведомство походную церковь-палатку и разместили ее в зале некрасовской квартиры. Пригласили священника. Больного взяли под руки и три раза обвели вокруг аналая, полуживого от страданий. Очевидцы запомнили, что он был босой и в длинной белой рубахе.

Церковным властям еще долго не давал покоя вопрос, правильно ли совершен брак. Говорили, что священника даже постигла какая-то кара за самовольство. Но Некрасов был спокоен - Зина приобрела законные права и могла лучше устроить свое будущее. Недовольна была только Анна Алексеевна. Она писала Федору Алексеевичу: "В Фомин понедельник брат женился, это было для меня тяжелым сюрпризом, именно случилось тогда, когда я наименее этого ожидала".

Венчание произошло 4 апреля. А 11 апреля приехал из Вены Билльрот, с приглашением которого в конце концов согласился Некрасов. На следующий же день, в час дня, была сделана операция - colotomia в левой поясничной области. Она продолжалась всего около получаса и прошла успешно. Благодаря хлороформированию больной ничего не чувствовал, а, проснувшись, выразил удовлетворение, что все благополучно кончилось.

На некоторое время пришло облегчение. Он стал сидеть в кресле, похаживать по комнате. Его навещали немногие знакомые - бывали Салтыков, Плещеев, приехал Достоевский. Наконец в июле - видимо, по инициативе Пыпина - состоялось свидание с Тургеневым. Больного осторожно подготавливали к этой встрече, но он сам, узнав, что Тургенев в Петербурге, выразил желание его увидеть.

Об этом драматическом эпизоде сохранились два рассказа. Один принадлежит Зинаиде Николаевне: в старости она вспоминала, как в дверях комнаты, где лежал поэт, появился Тургенев - бодрый, высокий, представительный. Он застыл у входа, пораженный видом больного. А Некрасова охватило невыразимое душевное волнение. Он поднял тонкую, исхудалую руку и сделал прощальный жест в сторону пришедшего. Тургенев же молча благословил бывшего друга и исчез в дверях. Не было сказано ни слова.

Другое описание той же встречи сделано самим Тургеневым. Это стихотворение в прозе "Последнее свидание":

"Мы были когда-то короткими, близкими друзьями...; Но настал недобрый миг - и мы расстались, как враги. Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен - и желает видиться со мною. Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились. Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг! Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов -

привет ли то был, упрек ли, кто знает? - Изможденная грудь заколыхалась - и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки. Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него - и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку. Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою. Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы... Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас. Да... Смерть нас примирила".

Летом Некрасова перевезли на дачу. Он начал писать стихи (после перерыва), читал газеты. Но видно было, что жизнь в нем угасает. "... Теперь буквально остались одни кости, - писала Анна Алексеевна в Карабаху, - страшно смотреть, когда он становится на ноги".

В это время им еще владела мысль рассказать читателям о своей жизни, оставить свою автобиографию. С этой целью он, когда мог, диктовал сестре или брату Константину, который был все время при нем, отрывки из воспоминаний о прошлом. Иногда он даже будил их ночью, чтобы записать что-нибудь важное. В других случаях просто рассказывал какой-нибудь эпизод навестившим его знакомым и просил записать его и литературно обработать.

Осенью наступило резкое ухудшение. Оно сопровождалось полным параличом правой половины тела, частыми выключениями сознания. Впрочем, оно быстро к нему возвращалось. Однажды, чтобы испытать свежесть головы умирающего, доктор Белоголовый сказал:

- А ведь сегодня четырнадцатое декабря.

- Да, - ответил больной, - я нынче как проснулся, так и вспомнил об этом.

В начале ноября Пыпин принес Некрасову письмо Чернышевского из Сибири, в котором говорилось: "... Скажи ему, что я горячо любил его, как человека... что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов". Прослушав эти слова, Николай Алексеевич ответил:

- Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его: я теперь утешен - его слова дороже мне, чем чьи-либо слова.

Он скончался в 8 часов 30 минут вечера 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года по новому стилю).

* * *

Его гроб несли на руках до самого Новодевичьего монастыря. Собралось более пяти тысяч человек. Елисейев, описавший похороны в статье, которая была вырезана из журнала цензурой, говорит, что со времени Пушкина "едва ли ко гробу какого-нибудь писателя стекалось столько народу, сколько мы видели при гробе Некрасова... Интеллигентный Петербург с утра до ночи толпился в его квартире. Надобно было видеть, с каким непритворным горем толпы учащейся молодежи явились при его гробе, благоговейно склонялись на колени перед гробом, целовали его руки и потом сменялись новыми толпами".

Похороны носили характер политической демонстрации. В них приняли участие нелегальные народнические организации - землевольцы, южнорусские бунтари, как раз в то время собравшиеся в Петербурге. Плеханов, активный деятель тайного общества "Земля и воля", рассказывает, что это общество решило открыто явиться на похороны в качестве революционной социалистической организации. С этой целью был заказан веночек с надписью на алой ленте: "От социалистов". Бунтари и землевольцы вместе с участниками рабочих кружков кольцом сомкнулись вокруг венка; они были вооружены, вспоминал Плеханов, и собирались пустить в дело револьверы, если бы полиция попыталась отнять веночек силой. Но этого не случилось, полиция предпочла веночек не заметить. Над могилой говорили речи. Выступили В. А. Панаев, Достоевский, Засодимский, Плеханов и неизвестный рабочий. Самый

факт выступления Достоевского над гробом Некрасова знаменателен. Говоря о его поэзии, писатель заметил, что по своему таланту Некрасов не ниже Пушкина. "Это показалось нам вопиющей несправедливостью, - вспоминает Плеханов.

- Он был выше Пушкина! - закричали мы дружно и громко.

Бедный Достоевский этого не ожидал. На мгновение он растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика, чтобы он мог согласиться с нами. Поставив Некрасова на один уровень с Пушкиным, он дошел до крайнего предела уступок "молодому поколению".

- Не выше, но и не ниже Пушкина! - не без раздражения ответил он, обернувшись в нашу сторону..."

Плеханов выступил от имени общества "Земля и воля" и высказал в своей речи все, что думала об авторе "Железной дороги" тогдашняя революционная интеллигенция. При этом оратор не стеснялся присутствия полиции. Он прямо указал, что Некрасов был певцом угнетенных, сказал о значении его поэзии для русской революции.

* * *

В одном из последних своих стихотворений, обращаясь к "родине милой", к будущему читателю, Некрасов воскликнул: "Как человека - забудь меня - частного, но как поэта - суди..."

В этих словах - отражение "покаянных" настроений поэта, отголосок постоянно мучившей его мысли о своем будто бы неисполненном долге перед народом. И еще - сожалений о том, что его "частная" жизнь не похожа на жизнь тех, кто "жертвовал собой", "бросаясь прямо в пламя", и погибал во имя убеждений; сам Некрасов осуждал свою приверженность к "минутным благам", к которым он был, по его же словам, прикован "привычкой и средой".

Склонный преувеличивать свои "грехи" и ошибки, Некрасов считал, что родина должна "судить" о нем только по его поэзии: "И не боюсь я суда того строгого. Чист пред тобою я, мать". Конечно, в творчестве писателя проявляются самые сильные, самые светлые стороны его личности. Но было бы неправильно "судить" о Некрасове-поэте, забыв о нем, как о человеке.

Разорвать эти два плана, противопоставить их друг другу невозможно. Тем более, что - при всех "грехах" - частная жизнь поэта, редактора, гражданина была теснейшим образом связана со своим временем, переплетена с большими и малыми событиями, и уже по одному этому достойна внимания и изучения. А попытки недоброжелателей и врагов очернить и оклеветать поэта, используя его слабости и ошибки, отмечены самой историей.

Творчество писателя - неотъемлемая часть его биографии. Вот почему дело биографа - даже вопреки желанию самого поэта - показать историческое лицо в его целостности; не обойти, не забыть "частного" человека, а показать естественную слитность жизни и творчества художника, раскрыть их связи и противоречия.

Кто-то еще в давнее время назвал Некрасова самым русским из всех русских поэтов. В самом деле, глубокая самобытность, теснейшая связь с национальной жизнью, близость к народу, к крестьянству отличают его музу. Всеми корнями связанный с русской литературой, со своими великими предшественниками и современниками, Некрасов как поэт выделялся среди них, и это было замечено еще при его жизни. Критик "Русского слова" В. Зайцев в 1864 году писал, что Некрасов - народный поэт, что "по предмету своему, по своему герою стихотворения Некрасова не имеют равных во всей русской литературе".

Теперь, когда минуло столетие, можно сказать и больше - стихи его не имеют себе равных во всей мировой литературе, ибо ни одна литература мира не знала народного и революционно-крестьянского поэта такого масштаба, как Некрасов. Это отмечено и в зарубежной критике. После смерти Некрасова, когда интерес к его поэзии на Западе заметно увеличился, Мельхиор де Воюэ в 1884 году писал о его исключительной самобытности:

"Оригинальность его господствующая черта. Ни в какой европейской литературе в течение пятидесяти лет не было поэта более индивидуального, более неожиданного в своих мечтах, более свободного от всяких подражаний". При этом французский критик выше всего в наследии русского поэта ставил его стихи о крестьянстве.

Такое понимание Некрасова можно встретить и в современной критике. Так, Ш. Корбэ в книге "Некрасов, человек и поэт" (1948) выделяет крестьянскую тему у Некрасова. Он считает, что поэму "Коробейники" не с чем сравнить в мировой литературе, как и "Мороз, Красный нос" - подлинный шедевр мирового искусства. Французский исследователь указывает, что Некрасов впервые "ввел мужика в семью человечества".

К этим суждениям можно добавить, что круг поэтической деятельности Некрасова, разумеется, нельзя ограничить крестьянской темой, как ни велико ее место в наследии поэта. В сферу его внимания входили и жизнь большого города, и героические страницы прошлого - движение декабристов, и высокие человеческие чувства, запечатленные в его лирике. Он был крупнейшим поэтическим выразителем национального сознания, певцом русского народа в определенную эпоху его истории. Он был великим художником русского слова, вобравшего в себя все богатства народной речи и народной поэзии. Он был редактором лучших русских журналов, в течение трех десятилетий бессленно стоявшим в центре литературного движения, принимавшим на себя все тревоги и бури своего времени. Все это - заслуги исторические, определяющие ту новую ступень, на которую поднял русскую поэзию, русскую литературу Некрасов - предшественник Блока, Маяковского, Демьяна Бедного, Твардовского.

А. В. Луначарский сказал о нем: "Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим: нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед которым мы с любовью и благоговением склонились бы ниже, чем перед памятью Некрасова".